

В ТЮРЬМЕ КЕРЕНСКОГО

Июль семнадцатого года. Торнео — приграничная станция Финляндии и Швеции. На таком далеком она севере, что летом солнце светит круглые сутки. До войны — мало посещаемый пограничный пункт. За годы войны единственный, открытый для России, транзитный железнодорожный путь в Европу.

Унылая станция. Казенно-казарменные постройки. Болота. Низкорослая полярная береза. [Вскоре] пограничная станция Швеции — Хапаранда. Унылая полярная природа, но чистенькие деревенские строения и свеженькие бараки — для беженцев и репатрируемых военнопленных из России и в Россию.

Всего каких-нибудь четыре месяца тому назад я ехала по этому же пути в Россию, в «освобожденную» Россию, где народ сумел свергнуть царя и провозгласить страну республикой. Политическим [была] дана амнистия...

Тогда, в марте 1917 года, была суровая зима. Белая снежная пелена скрашивала унылость полярных болот. И было весело на саночках с бубенчиками переезжать через пограничную речку Торнео. Впереди — новая Россия. Еще не наша, еще только «буржуазная», но воля рабочих и крестьян к миру и основательной чистке старой России разве не проявлена созданием своих Советов? Впереди — борьба и работа. Работа и борьба. На душе бодряще светло и свежо, как в снежно-морозном воздухе на пограничной речке. И под звон бубенчиков летели окрыленные мысли вперед — в новую революционную Россию...

А теперь был июль — после первого порыва трудового народа прорвать пытающийся «закрепиться» буржуазный строй в России.

Нас выпустили из заграничного поезда (теперь поезда доходили уже до Торнео). Отобрали паспорт. Вошли в здание станции. Тесно, грязновато, шумно, накурено. И ни одного красного банта. Сели за столик, пьем чай. А из двери комендатуры то и дело выскакивают офицеры-пограничники, полюбопытствуют на нас и шмыг в комендатуру. Обе [с Зоей Шадурской] молчим и думаем: неспроста.

Вот и знакомый, тот самый, юный, краснощекий офицерик, что впускал меня через заставу, открывшуюся для «политических»

в новую Россию. Смотрит хмуро и не кланяется. Ага, значит, что-то «готовят».

Час проходит. Другой. Третий.

Приглашают к столику, где сидит офицер, заполнить анкетные бланки. Заполняем.

Пассажиры недовольны: почему с подачей поезда запаздывают? Говорят об июльском восстании. Будто бы «жестокая расправа» с большевиками, редакция «Правды» разгромлена, масса арестов. «И будут этих немецких шпионов судить, как предателей страны, полевым и скорым судом».

Сидим и слушаем.

Началась посадка в вагоны. Носильщик забирает и наши вещи.

— А паспорт?

— Паспорта возвращаются уже в вагоне.

Странно, неужели так и пропустят нас? Не верится. В дверях отделения вагона офицер:

— Вы гражданка Коллонтай? Пожалуйста в комендатуру. Нет, нет,— это в сторону З. Шадурской,— пока только вас зовут.

Ясно — арест.

Комендатура как комендатура, маленькие окна, грязненькая. По стенам вплотную жмутся солдаты, будто на митинг собрались. Впереди не то настороженные, не то смущенные офицеры. Выделяется высокая статная фигура в морском мундире — князь Белосельский-Белозерский.

Вошла. Секунда напряженной тишины и молчания.

— Вы, гражданка Коллонтай, арестованы.

Это объявляет князь.

— По чьему распоряжению? Я — член исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Или в России переворот? Опять монархия?

— Что вы! Ваш арест по распоряжению Временного правительства.

— Керенского? Прошу показать мне приказ.

Князь складывает бумагу так, чтобы я не видала начала, и тычет на подпись.

Так и есть — Керенский.

— В таком случае распорядитесь, чтобы из вагона сюда внесли мои вещи, а то еще пропадут.

— Разумеется! Поручик, распорядитесь.

И сразу спало напряжение. Засуетились. Зашевелились.

Гляжу, а у солдат хмурые, недовольные лица. Расходятся нехотя, бурчат вполголоса, как после несостоявшегося митинга.

Офицеры же явно довольны. В чем дело?

После, по дороге в Петроград, сопровождавшая нас охрана рассказала, что солдаты, узнав о намечающемся моем аресте, властью полкового комитета постановили, что будут присутствовать при нем. Офицеры же поняли это как своего рода «протест»

и панически боялись, как бы я не «взяла» слова и не вздумала заняться большевистской пропагандой.

— Тогда нам была бы крышка! — признались офицеры-охранители. — Не вас, а нас бы, пожалуй, переарестовали. Да еще хорошо, если только это!

Но в тот момент, когда поручик услужливо устремился за моими чемоданчиками, я этого не знала и не понимала: чем же, собственно, вызвано явное недовольство солдат?

Пока я размышляла, привели и З. Шадурскую.

Она улыбается:

— А ты-то мне расхваливала новую Россию. Чего же тут нового? Даже очень старо и даже очень знакомо... Все как подобает в старой матушке-России, только жандармы в другой форме.

— Гражданка Шадурская! Прошу не издеваться! — обрывает грозный статный князь.

— Да не хотите же, чтобы мы устроили вам истерику? Дайте нам по крайней мере хоть посмеяться.

Офицеры о чем-то шепчутся. Их что-то смущает. Уходят, совещаясь. Потом мы узнали, что ордер был на арест Шадурского, а не Шадурской. Не знали, как теперь быть.

Князь вступает с нами в политический спор. Он доказывает нам, что большевики, и мы в том числе, — «предатели отечества», что мы губим «свободную республику», что мы «играем на руку врагу», что между нами («я не говорю о вас, конечно», — оговаривается светски-любезный князь) есть явные агенты Германии. Это доказано.

— Кем?

— Вашими же товарищами, такими же революционерами, как вы, — Алексинским и Бурцевым.

И князь спешит нас ознакомить с нашумевшей в свое время клеветнической статьей Бурцева. В статье много знакомых имен. Подчеркнуто жирным синим карандашом: «Коллонтай».

— С каких это пор газетная статья является наивернейшим неоспоримым документом? — спрашивает З. Шадурская.

И князь, досадливо пожимая плечами, доказывает нам, что Алексинский писал на основании «документов» и что все это вскроется на суде.

Под строгой охраной нас ведут в особый, прицепленный в конце поезда, вагон. Поезд оцеплен, и пассажиров не выпускают. На перроне — кучка местных жителей Торнео. И из этой кучки несутся крики: «Немецкие шпионки!.. Большевички, предатели России!..»

Нас догоняет тучный человек с салфеткой под мышкой — содержатель вагона-ресторана. Зычным голосом бросает и он нам свое «неодобрение»:

— Вот ведут шпионку Коллонтай. Поганая большевистская собака, кровожадная Коллонтай! Твое место на виселице с изменниками России! Да здравствует Российская Республика и ее союзники! Ура!

Но «ура» содержателя вагона-ресторана никто не подхватывает. И его салфетка одиноким белым пятном колыхается на фоне серенькой станции Торнео.

Финляндия. В те дни еще не «красная». Но рабочие, крестьянская беднота внимательно, молчаливо, вдумчиво прислушиваются к голосу большевиков. И группируют свои симпатии вокруг ярких и напористых выступлений Центробалта, непокорного Временному правительству. Рабочая социалистическая партия Финляндии еще только недавно оторвалась от II Интернационала и провозгласила свое присоединение к Циммервальду... В стране, под шумихой выступлений либеральной финской буржуазии, пускает корни большевизм.

Но на поверхности — все та же знакомая, степенно-неторопливая, основательная и работоспособная Финляндия. Скромные, чистенько прибранные, заново подкрашенные деревянные станции, тщательно ремонтируемые проселочные дороги, светлые многооконные здания школ, дымящиеся трубы заводов и фабрик и аккуратные рабочие поселки.

Едем по Финляндии день, другой. Вагон наш второго класса, но дачного типа — на коротеньких сиденьях не уляжешься. Приходится дремать сидя. У входных дверей охрана. Нас сопровождают два молодых, очень молодых офицера. Конечно, спорим с ними всю дорогу о войне, о Советах, о большевиках. Спорят офицеры горячо... Особенно их волнует вопрос о защите отечества:

— Как же не защищать республиканскую Россию? Ну, добро бы — царскую. А то ведь республика у нас, свобода!

— Свобода?.. Где же она? Вот вы везете нас, как преступников, а мы ведь только то и делали, что защищали свои идеи. Значит, не всем можно мыслить свободно? Свободу «либеральное» Временное правительство дает только до известного предела. Кто за Советы, того в кутузку.

Спорят. Возражают. Как признать, что большевики, эти «люди без отечества», в чем-либо правы?..

На тихих финских станциях, где мирно покуривают свои трубочки степенно-понурые финские крестьяне, около нашего вагона пассажиры стремятся разглядеть «шпионку Коллонтай». Офицеры-охранители спешат опустить шторы. Что это? Предосторожность? Или желание избавить нас от неприятных, любопытствующих взоров?

Голод напоминает о себе. Мучает жажда. Ведь лето — июль. Офицеры предлагают пройти в вагон-ресторан.

Поезд длинный, на площадках останавливаемся, чтобы вобрать живительный, густо насыщенный сосной воздух Финляндии... Дышишь, а мысли убегают далеко-далеко, в раннее детство, на мызу Куузу, где дедушка-финн строил свое молочное хозяйство

и где в мирной повседневности никто не думал о великих войнах и великих возможностях социальных переворотов.

В вагоне-ресторане тесновато. Садимся. И будто из земли вырастает наш яростный и непримиримый враг — тучный содержатель вагона-ресторана.

— Шпионке Коллонтай, большевичке и врагу Республики Российской, я в своем вагоне есть не позволю.

Наша охрана смущена и растеряна. Публика с любопытством следит за «скандалом». Вполголоса пробуют втолковать что-то офицеры рьяному «патриоту», готовому «во славу отечества» лишиться даже дохода от четырех клиентов. Но «патриот» стоек и неумолим. «Шпионы» должны быть посажены «на хлеб и на воду». Однако даже и стакан воды он не позволяет подать большевикам в своем вагоне!.. Вода вся вышла.

Уходим под громкие тирады содержателя вагона-ресторана о славе российского оружия и любви к отечеству. Вместе с бутербродами, добытыми на станции, наши охранники приносят нам петроградские газеты.

На фронте восстановлена смертная казнь. Уже были случаи расстрелов. Эта новость вдруг освещает всю картину. Временное правительство неустойчиво, оно судорожно хватается за все средства, лишь бы задушить большевизм. Оно смертельно боится духа непокорности... Временное правительство хочет управлять народом, но не желает слышать и понимать, чего же хочет народ, трудовой народ... Да и что до июльских дней истинно революционного сделало Временное правительство, чтобы народ захотел считаться с волей этого правительства и позволил бы управлять собою? Хозяйственные основы России — неизменные. Земельный вопрос? Крестьяне самосильно и самочинно его разрешают, пока там Керенский и его братья раскачиваются созвать «учредилку». Крестьянам ждать некогда. Пока коалиционный кабинет обсуждает, осторожно обсуждает вопрос о «выкупе земель», крестьяне уже хозяйничают в бывших помещичье-дворянских гнездах. Нет, Временное правительство не слышит голоса крестьянства, не умеет уловить его волю.

Вопрос о войне. Пока коалиционный кабинет в Петрограде слушает речи Керенского и приезжих «социал-соглашателей» о пользе наступлений, серые шинели бесшумно разбредаются с фронта, побросав свои ружья в окопах. Иной и «Окопной правды» никогда в глаза не видал, а готов «брататься» с немецким рядовым... В переполненных теплушках, в ободранных, без стекол в окнах классных вагонах, на крышах вагонов тянутся густые массы безоружных серых шинелей в родные уезды и села... А попал в свой уезд — сразу за дело: укрепить Совет рабочих и солдат, поддержать «стариков деревенских» в желании реквизировать усадьбу и землю помещичью... Почему бы и нет? На войне все и всё реквизировали. Это новое, твердо усвоенное понятие. При чем тут «выкуп»? Кто платил за военные реквизиции на фронтах? Кто

считался с правом собственника? И солдаты ревностно на местах помогали односельчанам без долгих околичностей решать вопрос «землицы».

А Временное правительство хмурилось и издавало «приказы», осуждавшие «бесчинства» на местах. Оно и тут не слышало голоса трудового народа.

Производство и продовольственный кризис. Основные вопросы для рабочих. И ум рабочих инстинктивно работал в направлении регулирования производства. Строились, формировались фабрично-заводские комитеты. А в то же время кабинет решал «усилить военную промышленность», не считаясь с нуждами крестьянина, забывая интересы воспроизводства. Рабочие на своих собраниях обсуждали мероприятия для удержания промышленности от полного развала, для спасения железнодорожного транспорта и обеспечения городов продовольствием. Но раньше надо заставить замолчать пушки. Раз война беспощадно съедает всю общественную прибавочную стоимость, добытую крестьянами и рабочими, надо ее прекратить. Раз фабрики и заводы перестали работать на потребности населения и лишь обслуживают фронт — нет накопления, нет запасов. Голод и оскудение неизбежны. Спасение — в прекращении войны и регулировании хозяйства.

Временное правительство постановило «усилить военное производство», а рабочие готовились к решению коренного вопроса: о «регулируемом» и «плановом» хозяйстве. Стихийно готовились. Обрывками мыслей, запечатленных в резолюциях и деловых решениях фабрично-заводских комитетов летом 1917 года. И все, что творилось нового, живого, творческого в России тех дней, все, что шло вразрез с судорожным стремлением буржуазии удержаться на базе буржуазной республики и спасти по возможности больше устоев старой России, в обиходе, в понятиях и — главное — экономике, — все это шло под ненавистным словом — «большевизм». Нет, ничего истинно революционного Временное правительство не сделало. Но и восстановлением смертной казни на фронте и громогласным процессом против «изменников отечества» — большевиков — оно не спасет положения и себя...

— А что же будет, если вы свергнете Временное правительство? — любопытствует наша охрана, офицер, что помоложе. — Кто же будет править? Большевики?

— Нет, Советы! Советы рабочих и крестьян.

— Но по-большевистски?

— Да, по-большевистски.

Медленно, томительно ползет поезд. Устаешь от сидячего положения. Три бессонных ночи. А впереди еще долгий день пути. Говорят, что только под вечер доберемся до Петрограда.

За Выборгом дачные станции. И странно видеть знакомые картинки мирной обывательщины: скучающих дачниц, флирт телеграфиста с девицей в розовом летнем платье...

Жадно покупаем газеты на станции. Аресты большевиков продолжают. Во Временном правительстве опять перетасовка портфелей. Чехарда.

А Советы? Почему до сих пор не выступают Советы в защиту своих членов? Отчего в Советах не слышно голоса протеста против деяний коалиционной власти? Не все же большевики изъяты? Неужели реакция так сильна? Неужели задушено движение за Советы? Надолго ли?

На месяцы? На годы?..

Белоостров. Пограничная станция с Россией. Прошу офицеров охраны послать хоть отсюда мою телеграмму председателю исполнительного комитета. Не может же Совет рабочих и солдат не реагировать на арест члена исполкома.

Ждем обхода пограничных властей. Охрана вагона усилена. К нашим окнам не допускают. Шторы спущены. Темно в вагоне, горит одна лишь слабая лампочка. Томительно и душно. Пахнет железнодорожной гарью и пылью вагонов. Изредка перебрасываемся вопросами: когда же обход, когда двинемся?

Вваливается новая смена охраны. Шумно размещается с ружьями в вагоне. Сопровождающие нас офицеры шепчутся с пограничными властями Белоострова. Мелькает телеграфный бланк.

Пытаюсь подойти к ним. Новоприбывший солдат ружьем загроживает путь.

Опять ожидание. Наша охрана возвращается в вагон.

— Мы с вами доедем до Петрограда,— сообщают они, как о большой и приятной для нас новости.

— А разве могло быть иначе?

— Да, видите ли, предполагалось вас снять здесь... Впрочем, это все уже улажено.

— А моя телеграмма исполнительному комитету?

— Да, да, я ее передал.

— Но пошлют ли?

— Должны бы...

Ждем. Тягуче-томительно. Тускло и душно в вагоне. Тускло и на душе...

Струя свежего вечернего воздуха. Вваливаются таможенники:

— Велено забрать весь «их багаж».

«Их» — относится к нам.

Осмотр? Пускай осматривают — кроме пары новых ботинок, ничего «запретного». Не думала я, что эта пара сереньких ботинок на пуговках превратится в измышления антибольшевистской, клеветнической прессы в «четыренадцать пар сапог», мною купленных на немецкие деньги!

Унесли наши чемоданчики.

— Только бы они не вздумали конфисковать грим, что везу для Веры (артистки Юреновой),— сокрушается З. Шадурская. Но театральные гримы были конфискованы и послужили хорошей темой для новых газетных измышлений о целом арсенале косметики, который «опасная большевичка» возит с собой.

Полковник пограничной стражи со старорежимной выправкой заходит в вагон, чтобы объявить З. Шадурской, что теперь ее арест «окончательный», что раньше был лишь «предварительный». Принимаем к сведению.

Уже ночь. Сизая северная ночь. Трогаемся. Через час мы у цели — Петроград.

Перрон Финляндского вокзала. Приходится ждать, пока пассажиры разойдутся. Стою у окна вагона. Знакомый вокзал. Веселой чередой бегут забытые картинки дней детства и ранней юности. В те годы этот перрон предвещал либо прелести каникул на дедушкиной мызе Куузе, либо размеренность и повторность учебного зимнего года. А сейчас за ним, очевидно, только камера в тюрьме Керенского.

Нас зовут.

Грузовик. Взираемся. Уже светает. Небо из опалово-сизого переходит в ласковые тона розово-золотистого...

Куда же везут?

Громыхает грузовик по Выборгской. Через Неву. На набережной остановились. Помещение контрразведки.

Большая комната, пустая, окнами на Неву. В окно глядит ранний рассвет. Горит электричество. И в этой смеси света как-то особенно театрально-надуманно выступает фигура полковника из контрразведки. Сидит за большим письменным столом. Бородка клином, лицо иссиня-бледное. Глаза нелепо-остекленевшие, будто безумные. Движения несоборные, сбивчивые, как у пьяного или у кокаиниста (потом оказалось последнее).

— Шпионок привели? Большевичек? На немецкие деньги собрались губить Россию? Не удастся! Не дадим! Не позволим!

Голос у него придушенный, выкрикивает слова с надрывом, через силу. Офицерам явно неловко за полковника. А он вместо делового опроса стучит кулаком по столу и выкрикивает проклятья и угрозы.

Нелепо и досадно.

И вдруг успокоился полковник. Замолчал. Поправил волосы. Вскинул на нас осоловевшие глаза и будто только теперь понял, кто перед ним и для чего. Порылся в бумагах.

Невзначай бросает в мою сторону:

— А вы давно знакомы с прапорщиком Пулеметного полка Семашко?

Из допроса узнаю ряд фактов, освещающих картину июльского восстания. Начали моряки. Балтфлот. Очевидно, раскатилось стихийно, но дальше Петрограда не перекинулось. Арестованы Рошаль, Дыбенко... и «все видные ваши агенты», по словам полковника. Меня обвиняют в тягчайших государственных преступлениях: дезорганизации армии, ведущей к поражению России на фронте, сношении с противником, подготовке восстания и т. п. Но

главное, что интересуется полковника, — это прапорщик Семашко. Если я сообщу ему данные о моем знакомстве с ним — все будет ясно!..

При чем тут прапорщик Семашко? Помню его на полковых собраниях, но с каких пор он стал центром внимания в вопросе борьбы с большевиками?

Допрос 3. Шадурской. Одна из улик против нее — наша переписка с ней.

Шадурская заявляет:

— Переписка была личного характера.

— Так-с, так-с! Значит, переписка-то у вас была только строго личная. А скажите, гражданка Шадурская, что значит ваша телеграмма из Христиании гражданке Коллонтай: «Выехать не могу, лечу зубы, вышли 60 крон, если нет, займи у Веры». Что значит «лечу зубы»? И кто такая Вера?

— Вы не знаете, что значит лечить зубы? Счастливый человек! А Вера — моя сестра.

— Ага, вы даете этому такое объяснение? Прекрасно. Так и отметим. Ловко придумано! А при чем тут пересылка денег через некоего Фюрстенберга (Ганецкого)? Ага! Это «товарищ» госпожи Коллонтай? И это отметим.

— А где же ваш друг Ленин? Разве благородно честному человеку скрываться, если он обвиняется в шпионаже?

Скрываться? Значит, Ленин не в их власти? От этого сразу на душе бодрее.

Допрос в контрразведке закончен.

Нас уводят.

Снова грузовик. Везут на Фонтанку, к прокурору.

Город еще спит. На углах дремлют извозчики, спешит одинокий пешеход. Все такое будничное, по-ночному спокойное. Не верится, что несколько дней тому назад город жил лихорадкой нового восстания, шла стрельба. В Маринском дворце нервно совещалось правительство. А члены Совета — меньшевики и эсеры растерянно хватались за испытанное оружие — работу контрразведки и аресты, чтобы спасти коалиционное правительство от угрозы «большевизма». А матросы, солдаты, рабочие шли стеной, грудью своей пытаясь пробить путь в новую Россию, Советскую... Но власть Керенских оказалась пока еще сильнее. Нелепо думать, что Совет, при теперешнем своем меньшевистско-эсеровском составе, встанет на защиту своих членов — большевиков против коалиционного правительства. Но что такое Временное правительство без Совета? Отнимите базу — Советы, и нет Временного правительства. Значит, Советы уже сейчас власть?

Привели к зданию бывшего жандармского управления. Посадили в большой пустой зал с зеркалами (некогда — особняк вельможи екатерининских времен).

Опять ждать. Выполнение «формальностей». Изредка из дверей выползают таинственно-подозрительные фигуры: человек в косоворотке и смазанных сапогах, но с явно холеными руками, господин в хорошо сшитом пиджаке, а лицо опустившегося пьяницы... Шепчутся с военными чиновниками. И исчезают за зеркальными дверями.

Ждем долго. Никак не найти прокурора. Еще не вернулся домой. А уж четвертый час утра...

И вдруг засуетились, заторопились, забегали по лестнице. Прокурор приехал.

Полчаса — и объявляют: меня повезут «дальше». А что будет с З. Шадурской? Нас разлучают.

На этот раз не грузовик, а автомобиль. Везут меня в сопровождении двух солдат с ружьями и одного из офицеров — того, что помоложе.

И опять говорим о войне, о большевизме, о Советах.

— Вы когда-нибудь пожалеете, что не идете с рабочими, с трудящимися. Ведь историческая правда-то на их стороне.

Сказала вскользь, а через много лет получила письмо от этого самого офицера с горьким признанием, что я тогда была «жестоко права»...

Заботит вопрос: как сильна реакция? Как-то не верится в нее. Так живо стоят перед глазами многотысячные митинги в полковых казармах, на фабриках, на кораблях Балтфлота. Трудящиеся — они уже в те дни понимали, чутьем понимали, что власть Советов — это и есть то, что им надо, то, чего они хотят. Не управителей над собою, а самим управлять, решать, творить... И прикончить эту разорительную, губительную бойню... Массы это понимали. Не хотят понять только те, кто у руля...

Офицер рассказывает о разгроме под Ригой. Наступление немецкой армии продолжается. Не в этом ли причина, что так легко удалось подавить восстание? Они думают, что восстание подняли «большевики». Но я-то знаю, что партия действовала все время сдерживающе, что Ленин расхолаживал порывы масс: «Еще не назрело, еще рано. Где ваши кадры? В чем ваша подготовленность?» И делегаты из военных или морских частей уходили от Владимира Ильича несколько разочарованные и озадаченные, но действовали уже осторожнее и вдумчивее.

Выборгская сторона. Меня везут в выборгскую женскую каторжную тюрьму.

— Всегда как-то приходится, что я попадаю в тюрьму ночью.

— Как это вы странно сказали. Тюрьма — разве это не жутко?

Он еще молод, мой спутник, офицер-охранник. И вдруг прибавляет взволнованно, вполголоса:

— Хотите, я вас отпущу? На свою голову...

Как он еще молод!

Тюремные ворота. Внушительно-мрачные. Распахнулись и поглотили наш автомобиль. Пока выправляют бумаги в тюремной канцелярии, слышу, как офицер просит дежурную надзирательницу:

— Вы все-таки отведите камеру получше, посветлее...

— У нас не гостиница,— отрезала надзирательница.

По ажурной железной лестнице поднимаемся на галерею справа. Камера № 58.

Щелкнул замок на два крепких поворота. Железной дверью отрезана от движения, [от партии].

В высоком окне с решеткой играет пыльный луч утреннего солнца.

Выборгская женская тюрьма заново отделана, покрашена. Февральская революция очистила тюрьмы. Я обновляю корпус для политических в новой, буржуазно-республиканской России. Спала на жесткой койке — крепко спала, пока не принесли кипяток и крупный ломоть черного хлеба. Разрешено самой купить чай.

Тюремный день начался. Прежде всего — привести камеру в порядок. Хорошо, что З. Шадурская заставила взять ее плед — койка выглядит не так тюремно. Полочка для умывальных принадлежностей, есть где помыться.

Мысль работает: как сильна реакция? Что делают наши? К полудню появляется начальник тюрьмы. Тучный, с бачками, поставлен сюда «новой властью» — так и отрекомендовывается мне. Словоохотлив, но больше по части «низости» большевиков.

Отмалчиваюсь.

Если верить его словам, все «большевистские поджигатели» арестованы. На след Ленина уже напали, может быть, и он арестован. А другие «покаялись» и во всем «признались».

— В чем же признались?

— В том, что у большевиков непосредственная связь с генеральным штабом Германии. Есть вопиющие улики. И против вас тоже... Но это не мое дело.

Приносят обед — винегрет на постном масле. По тем временам вполне съедобно.

Прошу достать мне газету. За мой счет. Не несут. Вечером узнаю, что я «на особо строгом положении» и газет мне давать не дозволено. Ни прогулок, ни свиданий. Так-таки и отрезали от движения, от партии.

Длинный-длинный пустой тюремный день. А сколько таких впереди?

Вечером опять кипяток и ломоть хлеба.

Электричество тушат в девять. Белая ночь голубеет в тюремном окне. И тихо, мертво-тихо.

Начались повторно-пустые дни в тюрьме Керенского.

Начальник тюрьмы общительно-болтлив. Он заходит ежедневно около 12-ти с вопросом: «Нет ли претензий?» Затем усаживается на табуретку и начинает свои разглагольствования. Первые дни — все больше сетования по адресу большевиков. Сожаления, что и я попала в их «сети», может быть, я даже не знаю, что это такое за преступники? «Государственные преступники», не простые там каторжане. Что может быть хуже предательства своего отечества?..

От начальника тюрьмы узнаю, что все арестованные партийные товарищи сидят в Крестах. «Соседи», так сказать. Но держат их значительно свободнее: общаются днем, ходят на прогулки. Только меня распоряжением «свыше» держат на особо строгом положении. Против меня — главный материал.

— Какой такой материал? Мои речи, выступления, статьи?

— Нет, есть материал посерьезнее. Переписка там, показания.

Тогда удивилась, не понимала еще, что процесс этот «состряпан» был меньшевиками и эсерами для опозоривания большевизма. Уж если слова «лечить зубы» могут сойти за шифр, как же сомневаться в основательном «материале» против большевиков?

Вторая излюбленная тема начальника тюрьмы — это тюремное хозяйство. Человек попал на свое место... Он любил «свою тюрьму». Жил интересами заготовок дров на зиму, получения доброкачественных продуктов и т. п. Может быть, кое-что и на себя «экономил». Но гордился своими достижениями: чистотой тюрьмы, тем, что хлеб в тюрьме лучше, чем в городе, что баня отремонтирована, что «сберег тюремную копейку». Войдет, отчеканит казенный вопрос о претензиях и не выдержит, спросит:

— А заметили ли вы, какая каша-то пшеничная вчера была к обеду? Рассыпчатая, со вкусом. Случай такой вышел. Окольными путями достал. Дешево и сердито.

Другой раз особо зайдет, спросит — хорош ли хлеб?

Хозяйственный был мужик!

Но о том, что делается за стенами тюрьмы, — от него не выведешь.

Попросила книг, тетрадь для заметок. Написала заявление. Надзирательницы холодно-вежливы. Но чувствуется, не одобряют «большевичку». Они — патриотки, за войну до победы. Служили здесь же при старом режиме. Очень были недовольны «разгромом» тюрьмы в Февральскую революцию.

— Помилуйте, новые подстилки на койки сожгли... Каторжников да хулиганов на улицу выпустили.

Ждала книг два дня, три. Очевидно, и на это надо было получить особое разрешение. Принесли «Фрегат Палладу» и Гамсуна. Первая передача — съестное, подушка. Поделилась с надзирательницей, вид у ней голодный. Обмякла несколько, говорит —

«нельзя принимать». Но сахар в карман положила и сладкий хлебец.

— Это я для своих кошек. У меня ведь никого нет. Ни семьи, ни знакомых. Только вот мои кошки. Пять штук. А сейчас у Чернячи котята. Сама-то черная, как сажа, а все четверо котят, как на подбор,— дымчатые. Понять не могу: откуда? Коты у меня оба пестрые.

Отдала ей банку сгущенного молока. С этого дня лед был сломан, и я всегда знала, какие новости в кошачьем царстве.

Дни повторно-пусты. Ни звука не просачивается о том, что за стенами камеры 58.

Почему не разрешают прогулки?

Отчего молчат Советы? Ну, хорошо, пусть Чхеидзе в Совете ведет линию на подавление большевиков, но куда же делись все те тысячи, десятки тысяч «сочувствующих», что рукоплескали нам на митингах, что принимали резолюции за власть Советов? Не созрело еще? Рано? Надо ждать? Хорошо ждать в активности, на работе. Но не здесь, от всего оторванной, бездейственной.

Особенно уныло в камере по вечерам. После шести часов. В шесть приносят последний кипяток. Потом щелкает на два затвора замок и знаешь: теперь уже нечего ждать, сегодня уже ничего нового не просочится. Впереди — только ночь. Мертвенно-тихая, прерываемая звенящими далекими звуками тюремной пустоты.

Утром неожиданно щелкает замок. Вся — любопытство. В дверях — две незнакомые фигуры: один солидный, осанистый, другой поменьше, с ищущими глазами, приученными все подмечать. За ними — начальник тюрьмы.

— Гражданка Коллонтай, гражданин прокурор желает узнать у вас: нет ли претензий?

Но я вижу, что прокурора привела сюда также и доля любопытства — он довольно бесцеремонно осматривает меня, оглядывает камеру.

— У вас здесь совсем недурно. Камера светлая, опрятная. Чего же больше?

— Как насчет еды? — вворачивает начальник тюрьмы.— Кажется, претензий нет?

Я ставлю вопрос о прогулках, о свидании, о том, что вообще желаю знать: на каком основании арестована?

Прокурор делает строго-унылое лицо.

— Дело большевиков слишком серьезно. В нем нельзя разобраться в течение недели. Слишком много важнейших нитей. На следствие для правильного и беспристрастного освещения фактов и разбора материала потребуются месяцы. Но ведь вы не одна в таком положении. Все ваши виднейшие товарищи также подвержены мере предварительного пресечения. И число их на днях опять увеличилось.

Кто еще арестован? Конечно, не говорит. Зато очень недвус-

мысленно дает понять, что ко всем остальным, сидящим в Крестах, применяется значительно более свободный режим. Меня же держат на «особом положении»... На это есть «данные», их, по мнению прокурора, я «сама должна знать лучше, чем кто бы то ни было». Подчеркивает, что обвиняемся мы по весьма и весьма тяжелой статье. В лучшем случае — каторга. Насчет свиданий и речи быть не может. Прогулки? Постарается сделать то, что допустимо.

— Вы знаете, что вы — одна женщина по делу большевиков. Вы с Лениным хорошо знакомы? Личные друзья?

— Товарищи, да.

— Ах, да, у вас это принято называть товарищами. Мое почтение.

Раскланиваемся издали. Ушел прокурор, оставив после себя след моральной неприятности. Долго не могу отделаться от чувства гадливости и бесцельно хожу, вернее — верчусь по камере. Не перебежь мыслей, не заставишь себя даже за книгу сесть.

Что же делается там, за стенами? Неужели так окрепло Временное правительство, что может позволить себе безнаказанно держать по тюрьмам тех, кто идет против его политики? А Центробалт? А союз металлистов? А рабочие Выборгской стороны? Не разгромлена же партия целиком? Она видела и худшие времена. Неужели месяцы, может быть, годы вот такое бездействие, вот такая оторванность?

Вечером, опять неожиданно, появляется начальник тюрьмы.

— Меня очень огорчило посещение прокурора. Вы видите, я ничего не могу сделать. Пока даже и прогулок не разрешил. Оказывается, ваше дело очень, очень серьезное. Все этот Ленин понаделал. Кто он такой? Купец? И зачем это он скрывается?

Скрывается? Чудесно! Значит, Владимир Ильич не арестован. И вдруг делается почти весело.

От начальника тюрьмы узнаю, что в Крестах большевики устроили что-то вроде «бунта»...

Неутешительные вести долетают в камеру, если долетают.

Как-то утром одна из надзирательниц принесла мне «Известия». Очевидно, это было сделано «по указанию», так как тон «Известий» и все события говорили о полном разгроме большевиков и большевизма. Однако немецкая армия продолжала наступать. Сплотит этот факт социальные слои и закрепит временно коалиционную власть? Или наоборот: все страдания и лишения народа, растущий недостаток в продовольствии, злоба на бессилие правительства остановят наступление, толкнут трудящихся на путь «самозащиты», а значит, на путь борьбы за власть Советов?..

И опять долгий день, заполненный только мыслями.

Вечером кипятков приносит мне молоденькая надзирательница, взятая при новом режиме. Глаза у нее заплаканные.

— Что с вами? В чем горе?

Расспрашиваю. И, конечно, узнаю, что все горе «в нем». Не женится. Не поймешь: действительно ли любит или так, «балует-ся»? А она сердце-то все ему отдала.

Заговорила, забыла, что она в камере и что беседовать с заключенными — «не по правилам». Но «облегчить душу страсть охота». А я слушательница внимательная и умею «подсказать» да «объяснить».

— Откуда вы это знаете? — удивляется она на мои объяснения.

И вдруг спохватывается: с кем это разговорилась так по душам? С большевичкой!

— Ну, если все большевики так думают, так, значит, они люди хорошие и что про них говорят — все пустое.

Уходя, бросает:

— Как старшая в канцелярию на дежурство уйдет, я к вам. Побеседуем еще.

Не раз заходила хорошенькая надзирательница по вечерам, когда тюрьма затихала на ночь, ко мне. Из рабочей семьи. С ней легко было столковаться и объяснить, почему «власть Советов» и что хотят большевики. Эта поняла и сама обрадовалась. Оказалось, что и он с «большевиками». Теперь-то их семейное дело скорей на лад пойдет.

Неурочный час — одиннадцать, а замок щелкает, отпирается. Кто? Что? Надзирательница.

— Пожалуйста, к следователю.

Инстинктивно поправляю блузу, волосы. Первый допрос после контрразведки. Все-таки «движение» дела.

Днем железная лестница кажется длиннее и еще ажурнее. Железные двери камер напоминают сейфы. Только за этими железными запорами — нечто более ценное, чем банковые ассигнации, драгоценные камни или золото — людские жизни. Источник живой энергии. Что может быть ценнее в мире живого человека?

— А много сейчас заключенных? — спрашиваю у надзирательницы.

— В этом корпусе вы одна. Но будто к ночи сюда переведут иностранку одну. Тоже шпионку.

Так что для них я «тоже шпионка»?

...Следователь за столом. Худой, бесцветный, невзрачный. Разложены бумаги.

— Садитесь.

Допрос сбивчивый. Очевидно, материала-то настоящего нет. Опять о прапорщике Семашко и о пулеметном полке, о переписке с Шадурской. Фигурирует обмен телеграмм с Ганецким и моя телеграмма В. И. Ленину по поводу его приезда. Ссылается на показания [некоего] Ермолаева или Ермоленко, будто бы компрометирующие показания. Этой личности я не знала. Заносит и это.

Пробует «ошарашивать» вопросами:

— А вы не говорили в Военно-большевистской организации в доме Кшесинской?

— Разумеется, говорила, я же была делегирована от военного клуба в Совет и состояла от них членом исполкома Совета.

Вопросы все в этом роде. Бесцветный допрос.

Но после него ощущение, что там [у них] «на верхах» не так богаты материалами, даже если материалы эти в большинстве сфабрикованы.

На другой день — разрешение на прогулку. Но свиданья еще не дают. Ни писем, ни газет. Начальник тюрьмы сообщает, что З. Шадурская ежедневно бывает в приемной тюрьмы и очень озабочена моим здоровьем. Хлопочет о докторском осмотре. Ей передали, что у меня ночью был сердечный приступ.

Докторский осмотр? Это умно. Может быть, удастся добиться изменения меры пресечения?

На первую прогулку идти совсем весело. Я шучу со встречными надзирательницами, и на ажурной тюремной лестнице раздается смех. Гулко ударяется он о не привычные к смеху тюремные стены.

Тюремный двор — вместительный. С одной стороны наш корпус — корпус политических. С другой — каторжная тюрьма. На окнах теснятся женщины, перекликаются с мужским корпусом. Над ними густым облаком носятся голуби — в ожидании крошек.

Дорожка проведена по дворику кругом. Посредине — клумба, поросшая травой, но в траве запуталось несколько ромашек. И это радует глаз. В конце двора — высокая кирпичная стена, сорный репейник и чахлый куст сирени. Жадно любишь на зеленое пятно. А главное — небо. Не потолок, не безлично-серые стены камеры, а небо. Небо с бегущими облаками, с горячим, еще июльским солнцем...

У двери — часовой. У стены — часовой. Ходим в кругу с надзирательницей. Полчаса. И — конец.

Подыматься по ажурной лестнице в камеру много скучнее, чем сбегать по ней на прогулку...

За мной заходит, чтобы вести на прогулку, надзирательница, что постарше. У нее и всегда-то уныло-озабоченный вид, а сегодня и подавно. День чудесный, весь играющий летом. Такие жаркие, солнцем насыщенные дни часто бывают на переломе к осени. Идем по двору. Один круг, другой, третий. Молчим. Вижу: отстает надзирательница, глядит на землю, а у самой слезы каплют. Остановилась.

— Что у вас на душе, Мария Дмитриевна? Горе какое?

В ответ уже открыто полились слезы. Сына, единственного, любимого, материнскую опору и утешение, забрали на войну.

— Еще ребенок совсем (обычное материнское восприятие!), и такой он ласковый, сердцем добрый. Всякую собаку пожалеет, не то что людей убивать.

— А как же вы за войну стоите? Разве вы одна так думаете? А другие матери?

От материнского горя — к большевизму, к вопросу о власти Советов... Чуть-чуть не прозевали получасового срока прогулки!..

На пороге камеры обе приходим к заключению, что «война народу не нужна, что от нее одно зло да горе людям». И все же Мария Дмитриевна шелкает на два затвора замок камеры, а я остаюсь пленницей оборонцев.

Но то, что даже тюремная надзирательница, патриотка, служанка старого режима, может так говорить о войне, рисует мне, куда направлены чувства и желания народа. А раз желания и чувства многих миллионов работают в одном направлении — воля скажется. Воля трудящихся!..

И вдруг мелькает подозрение: а вдруг весь разговор Марии Дмитриевны — провокация. Нет, так молча, скупо провокаторы не плачут. Да и что я сказала ей такого, чего не повторяла уже сотни раз на площадях и многотысячных митингах?

День, другой, третий — нет передачи. Это начинает тревожить. Еще новые аресты? Жутко сознание, что всякая связь с миром может быть порвана.

Шум, говор за дверью. И чувствуется мне голос Ш [адурской]. Аресты, значит, продолжаются?

«Надо уметь ждать. Еще не назрело... Еще не собраны силы»... Я вспоминаю редакцию «Правды» на Мойке. Крошечная темная комната, в которой всегда горело электричество, даже днем. Это и был «кабинет» Владимира Ильича до июльских дней.

Я пришла за директивами перед тем, как ехать в Стокгольм на совещание Циммервальда. Владимир Ильич предложил мне остановиться в Гельсингфорсе и побывать на кораблях. У него только что передо мной была делегация от Центробалта, и он не одобрил их нетерпеливых планов ввязаться в открытую борьбу с оборонцами:

— Надо уметь ждать...

Надо уметь «ждать» и здесь, за тюремными запорами.

Передача. По составу понимаю: от З. Шадурской. Значит, она еще на свободе? Дышится легче.

Второй допрос. На этот раз «сам» следователь Александров. Небольшого роста, с узкими живыми глазами, привыкшими «видеть» людей независимо от их слов. Сразу чувствуешь: это — сознательный враг, но зато хоть умный.

В допросе фигурируют все те же данные: мои выступления перед военными частями с речами против войны, за «братание», моя статья в «Правде» в защиту немецких военнопленных; обмен телеграммами с Ганецким (были и телеграммы от него для передачи товарищу Ленину), переписка с З. Шадурской и т. д. Александров дает понять, что процесс наш подходит под статью о государственной измене.

Допрос длится два часа. Внимательно читаю протокол. Вношу «уточнения». И ухожу, усталая нервами, как всегда после допросов.

В камере вдруг вспоминаю: в моей комнате, на Песках, у чужой хозяйки остались не только мои вещи, но и книжечка с адресами; там рядом с адресами Уншлихта и Ганецкого адреса и других партийных товарищей в Петрограде. Если забрали адресную книжку, значит, подвела товарищей. Как это я не подумала раньше, не подсказала по дороге сюда З. Шадурской в первую очередь «почистить» мою комнату? Но, может быть, обыска еще не сделали? Может быть, случайно не знали, где я жила перед отъездом в Швецию? Как бы изъять адресную книжечку? Весь вечер думаю не о процессе, не о допросе, а об адресной книжке. И ночью не сплю. Был или не был обыск?

Утром кипяток приносит Мария Дмитриевна. Она повеселела: первая весточка от сына с фронта. И вдруг я надумываю:

— Мария Дмитриевна, у меня к вам маленькая просьба: передайте моей подруге Шадурской, пусть она зайдет к квартирной хозяйке, где я раньше жила, и пусть вынет из правого ящика письменного стола все мои мелочи. Главное, мне нужен рецепт, а он лежит в синей записной книжечке. Пусть Шадурская все заберет: записную книжечку, булавки, пудру и т. п., а по рецепту закажет мне бром. Сделаете?

— Отчего же? По рецепту можно и в нашей тюремной аптеке заказать.

Сделает или не сделает? Поймет ли Шадурская? Узнаю ли, был ли обыск? И кажется, что всего страшнее, куда серьезнее всего дела против большевиков тот факт, что по моей небрежности могла подвести товарищей.

В тюрьме часто бывает такое извращение размеров фактов: крупное и важное заслоняется второстепенным. И второстепенное это кажется главным.

Погода сразу изменилась. По-осеннему моросит мелкий дождь, и в камере холодно, сыро. Кутаюсь в дождевик. Настроение тоже подавленно-серое. Все наделала эта книжечка с адресами!

В уголовном корпусе случай «подозрительный по оспе». Вышло распоряжение, чтобы всем заключенным привили оспу.

Повели в корпус уголовных. В коридоре, с решетчатыми окнами и тяжелым затхлым запахом, — партия женщин, уголовных. Шумная партия, пестрая по возрастному составу, по одеждам, по выражению лиц. Две-три — почти девочки. Шумнее всех — пышная, с красивым, свежим лицом, в опрятном платье, с холеными руками. «Предводительница воровской шайки», — поясняет надзирательница. Девочка — худая, безгрудая, — оказывается, детоубийца. Да сколько же ей лет?

— Четырнадцать!

Старуха в черном шелковом платье — «баронесса», воровка... Меня оглядывают с любопытством. Кто-то кидает:

— Да это и есть та большевичка, немецкая шпионка, Калан-таиха!

Крики, ругательства. Надзирательница спешно вталкивает меня в амбулаторию. Здесь светло и опрятно. Но воздух все такой же нестерпимо прелый. У стеклянного шкафа высокая женская фигура в белом. Красивое, но холодно-бесстрастное лицо: «Знаю и делаю свое медицинское дело. До остального — не касаюсь». Скупа на слова: «Снимите блузу», «Сядьте», «Правую». Но работает чисто, уверенно. Блуза надета. А уходить из амбулатории жаль. Такая она большая, светлая, опрятная. Не хочется в камеру 58!

Надзирательница, Мария Дмитриевна, принесла цветы. Говорит, что были еще, но что начальник тюрьмы сказал, что «неловко» в камеру «допустить» столько цветов.

От кого? Не сказано. Вернее, не передали записочку. Долго ли еще такая «изоляция»? И почему это в Крестах им позволяют и общаться, и дают свидания?..

Мария Дмитриевна говорит, что передала мою просьбу о рецепте Шадурской и та обещала по рецепту заказать лекарство. Поняла ли Шадурская, что не рецепт мне важен?

Начальник тюрьмы сообщил, что будто в городе большое возбуждение против большевиков. Их считают главными виновниками поражения армии [на фронтах]. Говорят о возможности «погромов».

И опять мысль вертится вокруг адресной книжечки. Только облегчила погромщикам работу!

Прогулки по двору испортились: во дворе идет заготовка дров на зиму, и для прогулок отведен лишь угол под самыми окнами уголовных. Из окна всегда несет тяжелым прелым запахом, слышна перебранка. Во двор через широко раскрытые запасные ворота въезжают ломовики с дровами. Начальник тюрьмы тут же. Распоряжается...

Лишились и этого получаса тишины. Но тишина была живая — за ней слышались звуки жизни... Испорчена прогулка. Я отказываюсь идти. Ссылаюсь на нездоровье.

У меня — соседка. Американка. Танцовщица. Заподозрена в шпионаже. Шумная, требовательная особа. «Сражается» через переводчика с начальством тюрьмы. Требует к себе «тюремную инспекцию».

— Очень она пищей недовольна, — сообщают надзирательницы. — Да еще требует, чтобы ее водили каждый день в большое помещение, где она может ноги размять, а то, говорит, без практики у нее ноги застоятся и она потом танцевать не сможет. И в камере, как ни зайдешь, она то на одной ноге стоит, то кувыркается...

Не одобряют ее надзирательницы, хотя проникнуты почтением к ее шелковому белью.

Ночью просыпаюсь от непривычного шума. Истеричные жен-

ские крики: «Спасите! Губят! Убивают!» Топот, мужские голоса. Шум. И снова эти раздирающие, истерические женские крики.

Инстинктивно — к двери. Но дверь не поддается. Заперта на два запора. А крики все громче, все истеричнее.

Сразу обрывается крик. Гулкие шаги по лестнице. Мужские голоса. Заглушенный теперь дверями камеры, женский голос продолжает высоко и надрывисто выводить: «Спасите! Губят!...»

В такую ночь нехорошо в тюрьме.

Наутро надзирательница, та, что имела пять кошек, объясняет: в уголовном корпусе переполнено. Привели ночью проституток, пойманных в «притонах». Одна — «истеричка», по мнению надзирательницы, уперлась, не хочет идти в камеру, хоть те что!.. Пришлось звать надзирателей из мужского отделения. Дралась, кусалась. Руки связали и бросили в камеру...

С этого дня беспокойно стало в нашем корпусе. И днем и ночью «скандалы». А дни ползут медленно-медленно.

Начальник тюрьмы сообщил «конфиденциально», что мои друзья энергично хлопочут о том, чтобы по отношению ко мне применили другую меру пресечения — поруки, например, но что надежды мало.

— Других-то, может быть, и выпустят. Но не вас. Это мне известно из достоверных источников. Да чем же вам у нас плохо? Стол прекраснейший, на воле люди хуже питаются, обращение с вами, это вы должны признать, самое корректное... Чего же вам еще?

Сообщение начальника тюрьмы подталкивает энергичнее взяться за хлопоты о моем освобождении на поруки. Подаю заявление со ссылкой на сердечные припадки, прошу врачебного освидетельствования. Странно думать, что министр юстиции Зарудный, левый либерал, «гуманнейшая личность», как его всегда аттестовали, чинит препятствия даже к свиданию с моим сыном. Но борьба есть борьба. Революция ведь еще не сказала своего последнего слова. Социальные группировки еще только «щупают» друг друга. Кто сильнее? Буржуазные либералы с меньшевиками и эсерами или весь трудовой народ и с ним — его самые яркие представители — большевики.

Тюремный инспектор Исаев приехал меня навестить. Бывший фабричный инспектор, кадет, из левых. Встречались не раз в былые годы еще на политических банкетах 1904 года, в эпоху «политической весны» Святополк-Мирского, в литературном клубе, на лекциях.

Исаеву явно неловко, что это я вдруг «заключенная». И что посадили меня его друзья и приятели, что меньшевики и эсеры держат меня на особом положении, что не дают даже свиданий. Он старается «оправдаться» и критикует «власть имущих». Уверяет меня, что мой «старый знакомый» — министр юстиции Заруд-

ный — очень склонен заменить меру пресечения залогом, что об этом шли переговоры, но есть «лица» (Керенский), которые решительно против проявления такой слабости. Главное препятствие в том, что боятся, как бы я вновь не стала «выступать».

— Ваши речи и без того много народу «перепортили»... Это не мое мнение, это говорят другие... Вообще, все это очень странно и нелепо, ведь вы же все социалисты, и вы, и Керенский, и Авксентьев, и Церетели... Очень странно!

Кадету, либералу не охватить всей остроты начавшейся борьбы социальных классов, не понять разворачивающихся путей революции. Все же он полон «благих намерений» и обещает сделать «все от него зависящее» и по вопросу присылки врачебной комиссии для освидетельствования, и по вопросу о свидании.

Только ушел, а две надзирательницы в дверях. Обе нагружены свертками.

— Ну и передачу же вам сегодня принесли. Прямо оптовый магазин. Чего, чего только нет! Булки белые, колбаса, консервы, масло, яйца, мед...

И записочка: «Моряки Балтийского флота приветствуют товарища Коллонтай». Вот так чудесная передача! Значит, Центробалт не разбит? Значит, дух-то моряков не сломлен? Значит, оборонцы не победили? Остальное все приложится!

На радостях, как соседка американка, готова была заскакать по камере.

С этого дня начались передачи: то от рабочих завода, то от района, то от трамвайщиц городского парка, то от текстильщиц. Может, и раньше были, да не доходили. Исаев «навел порядок».

Передачи сразу подняли настроение. Еще бы! Разве не лучший знак, что жив «дух большевизма»? Районы, фабрики, флот... Не задушили его оборонцы. Напрасно теперь старшая надзирательница, будто случайно, кидает:

— Нет больше большевиков! От них и рабочие, и солдаты, и матросы — все, как от бешеных собак, сторонятся.

Говори, говори! А передачи? И злорадно усмехаешься. Нет, теперь не поверю! Теперь уже ясно! Идет, стелется по низам здоровый протест против зловредной политики оборонцев. Когда знаешь, что там, за стенами, идет борьба, тогда и здесь сидеть не так тягостно...

Вечер. Солнце заходит. Небо розовое. Забралась на стол, страстно хочется поглядеть, что там — за окном! Но видны лишь крыши домов, кусочек пятого этажа желтого здания... Прислушиваюсь. Гудит город, живет. Мы — в мертвом бездействии. А город живет по-обычному. Одним больше, одним меньше. Так и в движении революционной борьбы. Убрали, изъяли сотни, остались миллионы... Хорошо сознавать, что борьба продолжается.

Дали свидание. В канцелярии у начальника тюрьмы. В присутствии чиновника министерства юстиции, с разрешения самого ми-

нистра Зарудного. Очевидно, работа кадета Исаева. Странно: кадеты, ходатайствующие за нас у меньшевиков и эсеров.

Свидание короткое, всего четверть часа. Удастся все же узнать кое-что... Красин и Горький хотят взять меня под залог. Минуты так коротки, что вместо вопросов молчишь и сверяешь часы. Сотой доли не спросила того, что хотела! На пороге вспоминаю: а рецепт?

— Найден среди всех записочек (подчеркнуто); завтра получу лекарство.

Гора с плеч!

Через день — врачебная комиссия с доктором А. во главе. Тоже старый знакомый. Но новостей от докторов не узнать. Впрочем, присутствует надзирательница.

Сердце расширено, давление крови повышено, опухоль ног и лица... Все это заносится в памятную книжку.

Единственная новость: в Москве совещание с промышленниками, с Бубликовым и другими «живыми силами страны». На это совещание возлагаются «большие надежды».

Кем?

Ушла врачебная комиссия. И вдруг безотчетно и тоскливо стало. Точно ждала от них другого. Не смутила же весть о совещании «живых сил страны»?¹ А тоскливо до безнадежности...

Ночью — новый транспорт уголовных... А вдруг это «свои»? Может, волна новых арестов?..

Бездонно здесь, одиноко и пусто.

Счастливы те, в Крестах... Все же — все вместе.

Думала, что после врачебного освидетельствования дело пойдет скорее — освободят под залог и на поруки. Первые дни начальник тюрьмы был — сама любезность: заходил в неурочный час, справлялся, не надо ли лекарств, не позвать ли тюремного врача. И прибавлял неизменно: «Пока еще ко мне относительно вас никакой бумаги не поступало. Но будем надеяться, что ваши влиятельные друзья всего добьются».

Дни шли. А движения — никакого.

— Правительству сейчас не до вас, — как-то вырвалось у начальника тюрьмы.

— Почему не до нас? — насторожилась. Окольными вопросами хочу выведать. Но начальство тюремное увертливо.

Все реже заходит начальник тюрьмы. Отговаривается — некогда. И свиданий опять не дают. Передачи — единственная

¹ Речь идет о так называемом Государственном совещании, созванном Временным правительством после июльских дней с целью объединить все силы контрреволюции, подготовить условия для установления в стране военной диктатуры. *Ред.*

ниточка из живого мира в мертвую, холодную, опротивевшую камеру.

Прибираю, цветы ставлю в кружку, пакетики с провизией в бумаге на полу по порядку разложила. Будто все на местах, а кажется камера такой сумрачной, нестерпимо надоевшей... Неужели просижу в ней год, два, три?.. От этой мысли чисто физическая тошнота поднимается. И боишься: а вдруг закричу истерически, как уголовные по ночам?..

Тянется, тянется время. Дни в тюрьме равны месяцам.

Конец августа. Косыми лучами добирается солнце по утрам в камеру. Следишь за лучами жадно и любовно. Пока луч в камере — будто гость желанный. Все выше, выше. Скользит по потолку, зацепился в решетке окна. И исчез... В камере пусто. Ушел гость желанный.

В одиннадцать приходит начальник тюрьмы:

— Я пришел вас подготовить к плохим вестям. Пока неофициально, стороной узнал, что на ваше ходатайство об изменении меры пресечения наложена неблагоприятная резолюция... Ходят также слухи, что некоторых большевиков переведут в крепость.

И ушел начальник тюрьмы. Долгий, серый день. Мысль работает, а ощущение тупого бессилия.

Передачи от фабрик и флота вдруг опять прекратились. Что случилось? Где причина?

Ночью нет сна. Уже привыкла к ночным скандалам уголовных, а теперь проснусь и думаю, думаю...

На прогулке дурно стало. Вызвали тюремного врача. Сухая, официальная. Прописала дигиталис. Велела лежать.

А мысли все кружатся вокруг одного. Перешла ли партия в подполье? Кто на свободе? Союз металлистов работает. А он — наш. И флот наш. Почему же не делают демонстраций, не требуют нашего освобождения? А может быть, все это и было? Опять разбили, подавили?.. Может быть, оттого и нет передач эти дни?

Ночь. День. И снова ночь.

Проснулась с безотчетной бодростью. Почти «радость жизни». Верно, потому, что светлый-светлый солнечный день. Прибрала камеру. Жду прогулки. А на прогулке смеемся с надзирательницей, с той, у которой кошки... Дворик теперь совсем в склад дров превратился. Но запах от свежесложенных поленьев смолисто-освежающий, и, если закрыть глаза, можно вообразить себя в лесу.

Вернулась в камеру. Но уже нет подавленности предыдущих дней. Собралась внутренне. Три года — так три года. Пять — так пять. Но не будет и этого. Разве Временное правительство справится со всеми задачами? Разве сумеет откликнуться на потребности народа: долой войну, землю крестьянам, регулировка промышленности, власть трудящимся? Нет, оно будет топтаться на месте, оно не понимает, что история требует, и властно требует, шага вперед, в новое, социалистическое будущее. Если не решить все

эти проблемы, не уцелеть Керенским. Мужичок не потерпит еще года войны. Ему и землю подавай сейчас, без проволоочки, без откладывания до «учредилки».

Нет, даже если и порешат держать нас «пожизненно», история порешит иначе!

Берусь за мелкие починки. Хочется, чтобы вокруг себя все было прибрано, в порядке. Заношу мысли в тетрадочку с перенумерованными страницами. Жаль, что не все в них запишешь!

Принесли передачу. Сегодня — удачный день. Незаметно пролетел. И будто чего-то ждала. Безотчетно.

Вечер. Последний кипяток.

— Спокойной ночи, Александра Михайловна!

— Спокойной ночи, Мария Дмитриевна!

До завтра. Больше на сегодня ждать нечего. В камере уныло. Тускло горит электрическая лампочка. Скоро и ее потушат. А спать неохота...

Растягиваю приборку на ночь. Стою и мою руки. Что это? Шаги. Все ближе. Так и есть. Остановились у камеры 58; замок щелкает. За мной? Перевод в Петропавловку?

Дверь широко распахивается: в ней — тучный начальник тюрьмы, улыбается и протягивает руку.

— Поздравляю! Пришла бумага: по распоряжению министра юстиции Зарудного вас отпускают под залог пяти тысяч.

— Кто же их внес?

— Ваши друзья. Кажется, здесь Максим Горький и инженер Красин старались. Вас ждут внизу.

Сборы — пять минут. Сердце бьется, бьется. Радостно.

Конец бездействию, оторванности. Страничка жизни в камере 58 дочитана.

Надзирательницы собрались внизу, провожают.

— Без вас скучно будет, не с кем пошутить, покалякать.

Уже не презирают большевичку и большевиков за шпионов не считают. Кроме главной надзирательницы.

У подъезда извозчик.

Темные улицы. Сумрачен был военный Петроград осенью 1917 года. Притаился, выжидая новых великих событий. Выспрашиваю жадно партийные новости. Был партсъезд, избрана в Цека. Владимир Ильич в надежном убежище. Еще многие в Крестах. Но поворот настроения в сторону большевиков заметный. Популярность Керенского падает с каждым днем. Его называют «главноуговаривающим». Зовут в наступление и не сумел наладить снабжение армии. Центральные державы наступают. Продовольственный голод растет. Голоса контрреволюционеров становятся более внятными. Советы силой вещей толкают на антагонизм с коалиционным правительством. К большевикам растут доверие и симпатии трудящихся масс. Число читателей «Окопной прав-

ды»¹ достигает небывалых цифр... Большого требовать нельзя! Снова работа. И борьба. Борьба и работа.

Так думалось и верилось, когда подъезжала к дому, где нашла приют после камеры 58.

Но иначе рассудил Керенский. Решение о замене ареста залогом было принято в его отсутствие. Когда ему доложили об изменении меры пресечения в отношении меня, он — так мне передавали — «рассвирепел». И немедленно, ночью же, отдал распоряжение о наложении «домашнего ареста». Одну ночь удалось проспать без охраны. А на следующую, в час ночи, — звонок.

Мы сразу поняли, кто эти поздние гости.

Приказ о наложении домашнего ареста подписан был Керенским, Савинковым и Авксентьевым. Так далеко уже зашло расслоение социальных групп, что правительство эсеров и меньшевиков подписывало ежедневно приказы об арестах тех, кто стоял за власть Советов...

«Ночные гости» ушли. У дверей моей комнаты остался милицкий с ружьем...

Только по решению Петроградского Совета снят был с меня домашний арест. Это было в день открытия Демократического совещания...

10 октября 1917 года. Из Центрального Комитета партии большевиков вызвали на экстренное заседание. Адрес заседания сообщен был конспиративно. И время необычное — поздно вечером, после десяти.

Место заседания ЦК — где-то в конце Петроградской стороны. Трамваи переполнены. Нет конца Каменноостровскому. Свернула. Пошли незнакомые улицы. Большие новые дома. Странно тихо, безлюдно. Будто притаился революционный город. Выжидает. Накапливает силы для нового натиска, взрыва. Гулко звучат мерные солдатские шаги. Смутно вырисовываются серые шинели. Идут рассыпанными кучками, переговариваются:

— Нашел дураков за империалистов умирать! Дарданеллов захотел! Тоже «главноуговаривающий»...

— Большевик! Помалкивай, а то морду набью!

В ответ дружная угроза «соглашателю-предателю». Мимо проплыли тени. Замолкли шаги.

Впереди двое рабочих. Беседуют тихо, вдумчиво, долетают слова: «социал-предатели, Либер — Дан», «права большевики: без власти Советов — не быть концу войны». Все о том же, все о наблевшем: войне и соглашательстве, власти Советов и мире. Война раздражает, от войны устали. Война — чужая, ненужная народу, ненавистный кровавый кошмар.

Навстречу девушки в платочках, работницы.

¹ В это время вместо закрытой Временным правительством «Окопной правды» выходила газета «Окопный набат». *Ред.*

— Какой же Ленин немецкий шпион, если он против соглашателей? Ты бы лучше послушала, что в «Модерне» вчера говорили...

И женщины с нами! Широко же разлился большевизм! Теперь уже не удержать революционную волну, вот-вот захлестнет соглашателей!

С трудом отыскиваю конспиративное собрание ЦК. Квартирка литератора. Не нашего толка, «сочувствующего».

Заседание уже началось...

Вокруг обеденного стола с зажженной висячей лампой — члены ЦК. Но возле меня за столом какой-то незнакомый седоватый старичок. Отодвигаюсь и поглядываю искоса. И вдруг в глазах незнакомца незабываемая, умная, лукаво-насмешливая улыбка.

— Не узнали? Вот это хорошо!

— Владимир Ильич?!

Сердце полно безмерной радостью. Ленин — с нами. После вынужденного подполья, скрыванья от ищеек Керенского, после долгого перерыва в участии на заседаниях ЦК он снова среди нас.

Историческое заседание 10 (23) октября! Кто не знает его? Заседание страстное, напряженное. На нем решается судьба пролетарской революции, судьба трудового человечества. В порядке дня вопрос о вооруженном восстании. Ленин ставит вопрос ребром. Надо принять решение о курсе на «В. В.», как мы тогда говорили для краткости, то есть уже о практической подготовке восстания; надо сказать, что момент созрел.

Сообщения товарищей о господствующих в массах настроениях, об обострении революционной борьбы с правительством Керенского только еще ярче подтверждают правильность предложения Ленина.

В Северной области солдатско-матросские массы пришли в движение, требуют действия. Москвичи подтверждают готовность московского пролетариата выступить за власть Советов. Гельсингфорсский Центробалт, столь ненавистный Временному правительству, прислал в ЦК делегацию и требует директив, чтобы ринуться в «беспощадный бой» за власть Советов. Третья армия¹ — за большевиков. Железнодорожники и почтовые служащие — в конфликте с властью Керенского.

Ленин внимательно слушает сообщения товарищей, как бы нанизывая их на продуманную нить намеченного партией плана.

Ленин говорит просто и ясно о том, что «кризис назрел», что крестьянские восстания показывают, какую роль сыграет крестьянство в момент социалистической революции...

Зиновьев и Каменев выступают против Ленина, против ЦК, с подло трусливыми возражениями, с преступными дезорганизатор-

¹ Очевидно, имеется в виду Пятая армия Северного фронта, армейский комитет которой в октябре 1917 г. возглавили большевики. *Ред.*

скими доводами. Чего же хотят эти трусы? Дождаться Учредительного собрания. И там — оппортунистической политикой, «парламентским путем» добиться власти.

— Чепуха несусветная! — вырывается с досадой и возмущением у Ленина.

Он с трудом дослушивает изменников.

— Ваши доводы никуда не годны. Они свидетельствуют не о настроениях масс, а о вашей собственной растерянности и трусости, это — отступление от всех основных положений большевизма и революционного пролетарского интернационализма.

Таковы основные мысли, какими Ленин громит изменников, разоблачая их.

Это с ними, с трусами и изменниками, боролся Ленин, когда из подполья писал письма товарищам, разъясняя недопустимость промедления. «...Безнадежна позиция тех,— писал Ленин,— кто... свою личную бесхарактерность сваливает на массы... Массы угнетенных и голодных *не* бесхарактерны».

Заседание 10 октября затянулось. Ночь на исходе. Решающий момент — голосование резолюции ЦК, предложенной Лениным.

Десять рук поднимаются за резолюцию. Две руки — против. Это две руки предателей, выступающих против партии, против революции, значит — против коммунизма и его победы.

Резолюция ЦК берет курс на «В.В.»: «вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело». ЦК предписывает всем организациям готовиться.

Заседание закрыто. В окна глядит рассвет...

...Напряжение сразу спадает. Ощущается голод. Несут горячий самовар, сыр и колбасу... Еще спорят, но уже среди шуток и дружеского подтрунивания...

Историческое заседание позади. Но решению, принятому на нем, суждено перевернуть судьбы мира.

Светает. Снова бесконечно длинный Каменноостровский. Скучно, долго трусит извозчик. А на душе торжественно-серьезно. Почти благоговейно. Будто осязаешь, что стоишь на пороге великого часа... Пробьет он, и конец старому миру... Торжественно-серьезно и чуть нервно.

Поеживаешься от внутреннего холода, как перед ответственным выступлением.